

Д. ВИЛЕНКИН

ДАВЛЕНИЕ ЖИЗНИ

Научно-фантастический рассказ





и шел по красной холодной равнине уже вторые сутки — прямо, только прямо. На нем был приметный ярко-синий комбинезон, но надеждой, что его найдут, он не обольщался. Это было бы чудо, если бы в однообразный свист марсианского воздуха вторглось гудение мотора.

Он шел походкой заводного автомата — мерной, экономящей силы: шесть километров в час, ни больше ни меньше. Мысли тоже были подчинены монотонному ритму. Из пройденного пути в память запали какие-то обрывки; все остальное слилось в туманную полосу, а прежняя жизнь отдалилась куда-то в бесконечность, сделалась маленькой и нереальной, как пейзаж в перевернутом бинокле.

Зато и страха не было. Было тупое движение вперед, была тупая усталость в теле и тупая бесчувственность в мыслях. Лишь все сильнее болело левое плечо, перекошенное тяжестью кислородного баллона (правый уже был израсходован и выброшен). А так все было в порядке: он был сыт, не испытывал жажды, электрообогрев работал безукоризненно, ботинки не терли и не жали. Ему не надо было бороться с угасанием тела, лишённого притока жизненной энергии, не надо было ползти из последних сил, повинувшись уже не разуму, а инстинкту. Техника даже теперь избавляла его от страданий.

Снова и снова он машинально поправлял сумку, чтобы уравновесить нагрузку на плечо. Всякий раз, когда он это делал, положение головы изменялось, и свист ветра в ушах (точнее, в шлемофонах) то усиливался, то спадал. Несмотря на ветер, воздух был чист и прозрачен, близкий горизонт очерчивался ясно, фиолетовое небо, как и почва, прихватывал мороз, отчего редкие звезды в зените горели бестрепетно и сурово.

Он еще испытывал удовольствие, пересекая невысокие увалы. Подъем был не крут, он не сбавлял шагу, а при спусках даже ускорял и радовался, что холмы помогают идти быстрее, хотя это был явный самообман, и он знал это. В детстве он любил воображать, что не идет, а едет; что он сам автомобиль, и вместо ног у него четыре колеса. Приятно было самому себе «наддавать газ», то есть идти быстрее, «выворачивать руль», избегая столкновения с прохожим, и «жать на тормоза». Сейчас он тоже казался себе машиной.

Постепенно отбрасываемая им тень удлинялась. Чем ниже опускалось солнце, тем красней делалась равнина. Склоны увалов пламенели. Но за неровностями уже копились сумерки. Они затаились там, словно бархатные лапы хищника. Ветер как-то незаметно смолк. Все оцепенело, и на Севергина — так его звали когда-то, но теперь это не имело значения — повеяло той тревогой, которая предшествует приходу ночи, когда человек одинок и беззащитен среди пустыни.

Он посмотрел на солнце и почувствовал невыразимую тоску. Значит, он все-таки надеялся в глубине души, что его спасут... Конец светлого дня означал конец надежды.

Издали от синюшных вздутий эретриума, пересекая тени, прокатилось что-то живое, приблизилось к Севергину. Взгляд маленьких розово блеснувших глаз зверька уколол человека. Севергин положил руку на пистолет. Но зверек, удостоверив-

шись в присутствии чужака, не задерживаясь, побежал по своим делам. Какой-то мудрый инстинкт, видимо, подсказал животному, что это двуногое не имеет отношения к Марсу, что оно случайно здесь, случайно живо и не случайно исчезнет еще до того, как солнце вновь окрасит равнину.

Севергин чуть не выстрелил животному вслед, так ему стало жалко себя! Кто-то словно перевернул бинокль, и прошлое ожило. То прошлое, которое предрешило все. Почему именно его природа сделала не таким, как все? Почему, почему?

Наклонив голову и почти обезумев, он побежал навстречу крадущимся теням. Мышцы, как он и ожидал, тотчас налились свинцом, но он гнал и гнал себя вперед, точно казня свое тело.

Метров через сто он сдался. Любой другой человек его возраста и здоровья осилил бы и тысячу. А ему хватило ста, чтобы изнемочь.

Так было всегда.

Он родился не таким, как все. Беда была не в том, что он, скажем, не мог есть хлеба — тысячи людей не могут есть чего-то: кроме неудобств, это ничего не создает. Природа отказала ему в более важном — в силе. Он был не болезненней других ребят, но сдыхал на стометровке, не мог подтянуться на турнике, плакал, пытаясь одолеть шведскую стенку.

Нет, ему были доступны длительные физические нагрузки, такие, как ходьба на большие расстояния. Дело было в другом. На мотор, пока он не разработался, ставят ограничитель. А вот в его организме такой ограничитель был поставлен навечно. Он не был способен на усилия резкие, требующие большого выхода энергии, как привернутый фитиль не способен на яркое пламя.

Сверстники снисходительно жалели его, а учителей физкультуры он доводил до изнеможения. Они все надеялись, что смогут развить его организм обычными приемами. Физкультура была кошмаром детства и юности Севергина. При виде брусьев, колея он трясся, как осужденный на пытку. «Давай, давай!» — кричали ему ребята в этих пропахших потом и пылью физкультурных залах. И он заранее мертвел, зная, каким смехом (беззлобным, но оттого не менее обидным) они встретят его нелепый, позорный прыжок через «козла».

Спас его четвертый или пятый по счету врач, к которому отвели его встревоженные родители. Этот врач не нашел ничего ни в сердце, ни в легких, как и другие врачи, но не пожал плечами, не посмотрел на мальчика как на симулянта, а спокойно сказал:

— Отклонения в обмене веществ, похоже, генетические. Исправлять их мы научимся не скоро. Не огорчайтесь. Составим для вас особую программу физических упражнений. Футболистом вам не быть, а в остальном...

Кошмар рассеялся навсегда.

Вот чем все это кончилось — печально гаснущей равниной Марса, сумасшедшим бегом от самого себя...

Севергин заставил себя лечь, устроил ноги повыше, чтобы они лучше отдохнули. Эти простые движения успокоили его. Вспышка отчаяния вернула ему трезвость.



Рисунки В. КОЛОТОВОА

Он сам во всем виноват, обвинять некого. Он сам бросил судьбе вызов, отправившись на Марс. Не так, разумеется, как в детстве, когда, ревя от злости, он вновь и вновь хватался за штангу, надеясь, что в этот раз она поддастся его бешеным усилиям. О таких схватках прославленный доктор микробиологии и думать забыл! Он уже давно жил в мире, где все решал ум, а физические достоинства не имели значения. Там он был на месте, более чем на месте. Не удивительно, что именно его, а не другого попросили срочно прибыть на Марс, чтобы разобраться в тревожном поведении кристаллобактерий, необъяснимо преодолевших фильтры водоочисток. Плевать всем было на то, может он или нет подтянуться на турнике: Марсу требовался его ум, а не мускулы.

Он мог бы отказаться, но не сделал этого. Избранником прийти на Марс, приблизиться к тому переднему краю, где человек ведет суровую борьбу за выживание, — мог ли он отказаться от столь блистательного реванша за унижения детства? Чтобы почувствовать себя таким избранником, надо было закрыть глаза лишь на ничтожный пустыяк. А именно: никто — ни люди, ни обстоятельства заведомо не требовали от него на Марсе рукопашного боя с природой. Там, как и на Земле, он оставался пассажиром корабля, именуемого цивилизацией, и от штормов его отделяли надежные иллюминаторы.

Возможность аварии исключалась. Разве капитан, беря пассажиров на борт, спрашивается об их умении плавать?

...Он летел из Сезоастриса в Титанус, сидя в мягком кресле крохотной автоматической ракеты, которая сама взлетает, сама садится и вообще все делает сама. Он сидел в кресле и читал. Очнулся он, лишь когда увидел приближающиеся снизу

скалы. Он не заметил и теперь никогда не узнает, что испортилось в механизме. Но и падая, ракета позаботилась о нем: катапульты вышвырнула его, прежде чем он успел сообразить, что произошло.

Одного не смогла сделать автоматика — уберечь его при парашютировании от удара о скалу (но ведь и самая заботливая мать не всегда уберегает ребенка от ушиба!). К счастью, удар пришелся не по Севергину, а по сумке с аварийным запасом. Рация превратилась в виногрет, посеребрянный осколками кофейного термоса, но все остальное уцелело, в том числе и драгоценная планкарта, позволяющая точно определяться в любой местности.

Он определился, как только пришел в себя. Все было и очень хорошо и очень плохо. Он находился в южной части хребта Михайлова, в стороне от трассы, которой следовала ракета, и вне зоны радарного наблюдения. Это означало, что место его падения Сезоастрису не удалось засечь даже приблизительно. Зато он был всего в ста шестидесяти километрах от поселка геологов. Баллоны скафандра и аварийного запаса обеспечивали тридцать шесть часов дыхания. Таблетки, снимающие сон, тоже были. Гористая местность кончалась километрах в семи от места падения, и горы тут были ни слишком крутыми, ни слишком высокими — вполне туристские горы. Прекрасно! Часов за шесть он пересечет горы, дальше начнется равнина, где вполне можно держать среднюю скорость равной пяти с половиной километрам в час. Он успеет дойти. Ведь идти — не бежать, тут его организм не подведет.

В какой-то момент он даже обрадовался: он на самом деле возьмет реванш!

Севергин рассеял вокруг места аварии приметную сверху флуоресцирующую краску и бодро двинулся в дорогу.

Он забыл, что даже в невысоких горах, если не хочешь удлинить свой путь впятеро, надо кое-где карабкаться отвесно вверх, перепрыгивать через трещины, подтягиваться на руках, то есть делать все то, что делать он был не способен.

На преодоление первых семи километров ушло пятнадцать часов, тогда как любой парень со значком туриста потратил бы на его месте от силы шесть-восемь!

Дальше он шел, уже зная, что дойти не успеет.

...Маленькое марсианское солнце коснулось края равнины. Вытянувшаяся тень Севергина скакнула за горизонт. Надо было идти, чтобы ритм движения усыпил разывравшиеся эмоции.

Он не прошел и километра, как равнина потускнела. Но в высоте неба одно за другим вспыхивали незримые днем перистые облака, будто кто-то трогал их, беря аккорды цветомузыки. Золотистые, лиловые, красные — тона были нежные, легкие, прозрачные, — они плыли в фиолетовом хрустале неба лепестками невесомых цветов.

Севергин поднял голову и долго шел так, улыбаясь чему-то и поражаясь тому, что улыбается...

Вскоре небо почернело. Но темнота длилась недолго: поднялся Деймос. Почва слегка засеребрилась, и холодок, охва-

тывающий колени при каждом шаге, когда ткань натягивалась, сделался ощутимей. Севергин усилил электрообогрев.

Равнина стала плоской, как разостланная скатерть, но кое-где ее узенькими мазками туши пятнали тени, отброшенные редкими стрелками сафара — унылой порослью марсианской травы. Неожиданно Севергин заметил, что старается не наступать на растения, и удивился, откуда в нем взялась эта бережность.

Потом он вспомнил откуда. Хмурым и ветреным апрельским днем он шел однажды дубовым лесом. Деревья стояли по-зимнему нагие, корявые, землю устилали ломкие листья, и под ногами хрустели желуди, такие же коричнево-серые, как и листья. Хруст давимых желудей был чем-то приятен слуху. В нем отзывалась мощь шагов уверенного в себе человека, вес его здорового, сильного тела.

Так шел он, пока среди жухлой травы ему не бросилась в глаза какая-то бледно-зеленая звездочка. Он с удивлением нагнулся: то оказался росток желудя, уже вцепившийся в холодную землю. И тут он увидел, что вокруг таких звездочек много, что они везде и что он шагал по ним тоже.

На цыпочках он поспешил покинуть лес.

Как тогда, Севергин встал и нагнулся перед стрелкой сафара. Почему-то рассмотреть травинку показалось ему делом более важным, чем все другие.

Стебель сафара был похож на ржавую проволоку, косо воткнутую в мерзлый грунт. Он был прочней стальной проволоки, его нельзя было раздавить, как желудь, Севергин это знал. Но сафар так же ждал часа своего пробуждения, как и желудь. В этой разреженной, бедной кислородом и теплом атмосфере ему тоже была уготована весна. Он не прозябал, он прекрасно жил в среде, смертельной для всего земного, если только оно не было ограждено скафандром или стенами теплицы.

С этим тоже следовало смириться.

Внезапно от стебля сафара пролегла вторая тень, тонкая, как вязальная спица. Выходил Фобос.

Севергин выпрямился. Его окружала ярко освещенная равнина. Узкие сдвоенные тени лежали на ней черной клинописью. Севергин, осеребренный лунами, возвышался над темными письменами, как памятник.

И все-таки рядом с ним была жизнь. Сколько раз, вглядываясь в резко очерченное поле микроскопа, он восхищался ее стойкостью! Часто предметное стекло напоминало поле битвы, так густо его усеивали трупы бактерий, убитых ядами, ультрафиолетом, радиацией. Ни проблеска движения, вот как сейчас. Но это был обман. Один организм из миллионов, один из миллиардов нередко оказывался цел и давал начало новой мутационной расе. То неведомое, что отличало его от всех, торжествовало победу над обстоятельствами и отвоевало для жизни новую сферу там, где, казалось бы, не существовало никакой зацепки.

Так было всегда. Зародившись в воде, земная жизнь овладела сушей, вышла в воздух, спустилась в глубины пластов. Кто знает, может быть, через сотни миллионов лет и без человека ее



давление выбросило бы семена новых всходов в космос, перенесло их на другие планеты? Почему бы и нет? Суша для обитателей моря тоже была губительной пустыней. Но волна за волной, влекомые обстоятельствами, они шли на приступ, и на триллионы погибших всегда приходились одиночки, не такие, как все, которые смогли уцелеть в новой среде.

Единственный случай, когда их существование оправдывалось! Ибо в привычных условиях эти же десантники скорее других обрекались на гибель. Когда стая птиц попадает в бурю, то смерть выбирает жертвы не слепо. Выверенный миллионнами лет эволюции стандарт может противостоять буране именно потому, что в его отшлифовке участвовали тысячи буранов прошлого. Но горе тем, кто нестандартен!

Он, Севергин, был нестандартен, и потому горы победили его, а не он их. Техника позволила людям почти избежать потерь при движении к другим мирам. Если бы она всегда была безотказной, потерь не было бы вовсе. Но, увы, щит не был и не мог быть абсолютным...

Севергин внезапно понял, почему из всего, о чем он мог думать в свои последние часы, он думал об этом. Бессознательно, невольно он искал утешения. Так он устроен. Как будто от этого легче!

Безбрежная тишина стояла вокруг него. Луны сблизились и смотрели с высоты пристально, как два глаза. Всякое движение в этом замершем мире казалось святотатством. Севергин ускорила шаг.

Теперь он не сделает этого. В ту минуту, когда начнется удушье, он не вынет пистолет и не застрелится. Живым не все равно, как он погибнет. Что-то больно ударит по друзьям, если его найдут с дыркой в сердце. Пример малодушия? Не то... Просто человек обязан бороться до последнего вздоха. Мера стойкости человечества зависит от меры стойкости каждого, вот и все.

Теперь он шел и думал о друзьях, о тех, кого любил, о том, что сделал и чего не сделал. Многие из того, что раньше казалось важным, стало теперь совсем неважным. Не все опо-

ра человеку, когда приходит смерть. Человек жив тем хорошим, что сделал он для людей. Лишь дружба, благодарность и любовь могут поддержать и успокоить, когда наступает время подвести итог. Особенно любовь. Сейчас он стал бы жить совсем-совсем иначе — доброжелательней к другим, заботливей, чище, если бы это было возможно!

Поздно.

Фобос закатился. Подул ветерок, уже предрассветный. Значит, он дождется утра. Почему-то ему хотелось, чтобы это случилось при свете солнца.

Но тут в регуляторе давления воздуха трижды щелкнуло.

Он похолодел. Сигнал, предупреждающий, что кислород иссякнет через десять минут. Конец.

Немеющие ноги сами усадили его на побелевший от инея камень. Небо у горизонта чуть поблекло, но до восхода солнца было еще далеко.

Может быть, выключить обогрев и замерзнуть? Говорят, что это походит на сон.

И вдруг ему невероятно, неистово захотелось жить! Он не успел, не доделал, не исправил, недолюбил — он не мог исчезнуть просто так!

Он вскочил. И задохнулся. словно ко рту прижали маску! И все же пошел. Легкие вздымались и опали — чаще, чаще, их сводила боль, горло сжалось в хрипе, он упал на колени и все равно пополз. И когда сознание потемнело, а тело забилось в конвульсиях, он рванул напрочь шлем и глотнул марсианского ветра, как тонущий глотает воду, потому что не глотнуть ее он не может.

В легкие прошел холодок, боль последней вспышкой озарила мозг, и все погасло.

Погасло, чтобы снова замерцать. Он очнулся от судорог, выворачивающих легкие, и увидел перед глазами что-то красное, колышущееся.

С невероятным усилием он поднял голову. Было уже светло. И он полз! И он дышал марсианским воздухом! Его организм был не таким, как все: он выжил!

Он даже не осознал этого. Он продолжал ползти. Он полз яростно, упорно, слепо — все вперед и вперед, туда, где были люди.

